



Борис Черных
Старые колодцы

«Европа»

Черных Б.

Старые колодцы / Б. Черных — «Европа»,

Российская очеркистика второй половины XX века сохраняла верность традициям дореволюционной очеркистики. Восстановление этих традиций стало явлю благодаря произведениям Валентина Овечкина, Владимира Тендрякова, Гавриила Тропольского и других. Один «Моздокский базар» Василия Белова многого стоит. Борис Черных, хотя он младше своих предшественников в жанре очерка, не погнушался пойти в русле лучших заветов отечественной школы публицистики. Самое главное, он везде (и в «Старых колодцах» и во всех своих очерках) сохраняет героя. И любовь к герою. Черных предпочитает писать не о проблемах, а о человеке. И с помощью своих героев внушают нам ту веру, не побоимся сказать высоким слогом, в Россию, в ее настоящее и будущее, в русский мир.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Очерки | 5 |
| Иная жизнь | 5 |
| Весенние костры | 12 |
| Чистая лампада | 19 |
| Добавление | 28 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 30 |

Борис Черных

Избранное в двух томах

Том II

Старые колодцы

Очерки

Иная жизнь

Далеко-далеко на востоке, в маленьком городе жил некогда Илья Павлович Митрохин, был он человек ординарный и тихий, в ординарности своей и канул бы в Лету, но случилось нечто, это нечто преобразило его быт, быт стал бытием.

В бытийном-то качестве Илья Павлович и заинтересовал меня, и не только меня, но и местечковых сожителей. А одно весьма патриотическое ведомство, вне забот коего устои народной жизни рухнут, посвятило Илье Павловичу специальное расследование, неприметное, – под статью предмету расследования. И все ближе к дому Ильи Павловича подступало дальнейшее погромыхивание.

Герой мой не придавал этому значения, потому что эпоха ввела посулы, схожие с нынешними. О правах человека напрямую не говорили, но косвенно как бы напоминали: живите спокойно, пришло желанное времечко. Но скоро погромыхивание обступило усадьбу, и Илья Павлович искренне подивился: о нем ли судачат и заботятся силы, судя по всему, доброжелательно настроенные? И если – о нем, то нельзя ли призрачный этот капитал пустить в оборот не для наживы, а на пользу дела?

А слава, перешагнув заплот огорода, пошла в раскат и в разлив по городу, так что Илья Павлович захотел вновь оказаться в безвестности и забвении, хотя, не новичок в жизни, он должен был давно смириться с превратностями судьбы, да и классика лучшие страницы посвятила непредсказуемости российских судеб. «Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей (видите, в „нашей“! – *Б. Ч.*) жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например читает римское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит» а на самом деле тонкий садовод и горит любовью к цветам», – извольте, Михаил Булгаков, в романе «Белая гвардия».

Илье Павловичу Митрохину в конце концов приписали именно белый цвет, в то время как он был сиреневым с макушки до пят.

Искушенному читателю покажется – слишком поздно я раскопал эту историю. Скажу: вовсе не поздно, почти четверть века тому назад раскопал. А что выношу ее на свет именно сейчас, тому есть причины. Притом, кажется мне, в нынешних страстях обществу нужна пауза, передышка. Опамятование, если угодно. Авось цветочный рассказ мой хотя бы на час приглушит неумеренные стенания сограждан.

Но вернемся в ту давность, когда я работал в молодежной газете Приморья. Экзотическая Миллионка, теплые огни Золотого Рога, сухое вино, красивые женщины, нагишом купающиеся в ночных заливах, мало ли усад в юные годы. Но октябрь 1964 года пооборвал зеленые лепестки непрочной хрущевской оттепели.

Очерк об Илье Павловиче цензура сняла на третьем витке. То есть два отрывка явились свету, а потом Чернышев, первый секретарь крайкома, вызвал на ковер редактора и грозно молвил:

– Беляков начали славить?!

– Илья Павлович не беляк, – кротко отвечал редактор.

– Нам лучше известно, кто он! – И очерк «Гладиолусы» утонул в редакционном архиве.

Шли годы. Время от времени я просматривал старые записи в блокнотах, но всякий раз оказывалось, что не пробил час.

Весной этого года я вернулся в Приморье, чтобы восстановить в памяти забытую историю.

Отец Ильи – Павел Андреевич Митрохин служил объездчиком Иманского лесничества и ютился в небольшом домике под Иманом. Надворные постройки просты: баня, сенник, сарай для коровы, конюшня. Сыновья лесника, старший Илья и младший Ефрем, рано начали трудиться, сначала на домашнем подворье, а после по найму, у зажиточных.

В разгар национальной усабицы атаман Калмыков мобилизовал уссурийских казаков на трудгужповинность. Прихватив фураж, в таратайке, юный Илья на пятнадцатый день дунул дремучими лесами домой.

В 22-м Иманский ревком, зная, что на хате у Митрохиных прятались от калмыковцев окрестные жители, рекомендовал Илью, которому шел двадцать второй годок, стать управляющим таможней.

Когда раскаты Гражданской окончательно затихли, Илья Митрохин, сметливый от природы, стал счетоводом (бухгалтером – не хватило грамоты). В этом качестве он пробыл долго. Добросовестность и деловитость Ильи Павловича отметили сослуживцы и начальники, приняли его в партию, он поселился, женился, перебрался в город попрестижней – Уссурийск, выстроил дом на улице Пинегина. По заданию горкома выступал не раз с политкомментариями на текущие темы. Избрали Илью Павловича и в партбюро, здесь он тоже оставался деловитым и пунктуальным.

Но волны невиданной волевой энергии шли из центра России на Дальний Восток, и самая страшная волна докатилась.

Был взят опричниками командарм Василий Блюхер, затем в череде арестов взяли Ивана Петрова. Если Блюхера счетовод Митрохин знал по легендам и песням, то Петрова встречал ранее самолично, беседовал с ним, чай пивали в молодости. У Ивана Григорьевича была незаемная слава: комиссар партизанского соединения, он отличился беспримерной храбростью при штурме Волочаевки (помните: «штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни?»).

В Уссурийск та страшная волна вошла вечером. Стояла оттепель, капало с карнизов. Сослуживцев Ильи Павловича, будто на военные сборы, собрали под ночь. Разумеется, позвали его самого. Оказалось, не сборы, а собрание, чтобы демократически осудить на распыл маршала Блюхера и комиссара Петрова. Представитель горкома с трибуны объявил маршала и комиссара врагами народа. К дикой невероятности добавил другую: «Пособники японского империализма», – наивный Илья Павлович не догадался, что патриотическим ведомствам спущена количественная разрядка по японским агентам, и счет кровавый требовалось срочно открыть.

Собрание пошамкало губами и проштемпелевало: «Быть по сему. Враги и шпионы». Затем в городе согнали еще одно собрание: тут ветераны Гражданской, потеряв остатки достоинства, соглашались с нелепым обвинением в адрес героев.

На первом собрании Илья Павлович чувствовал себя потерянным, дома, вернувшись, горестно размышлял о происходящем, а на втором собрании неожиданно (для себя неожиданно) подал голос.

– Я не верю в то, что Иван Григорьевич Петров мог стать пособником японских буржуев. – Всего-то и сказал.

Слушая совершенно нормальную речь Ильи Павловича, собрание ветеранов впало в абсурдное настроение, а К-й Михаил Дмитриевич, приятель старинный, крикнул, как бы спасая Митрохина:

– Ты не в своем уме!

Но опричники считали, напротив – в своем. На Илью Павловича организовали донос, переправили в горком, и карусель закрутилась.

Отныне началась иная жизнь Митрохина.

Слепому понятно, Илью Павловича должны были взять. Если маршалов и комиссаров берут, то кто посчитается с ним, маленьким человеком? Илья Павлович приготовил сверток со сменой белья и насушил сухарей. Дни и недели ждал гостей, потом месяцы. Но в механизм государственной гильотины попал песок, жернова притормозили тяжелый ход.

Илья Павлович остался на уссурийских улицах под вечным надзором. Для окружающих невзятие приговоренного к взятию казалось не только загадочным, но и оскорбительным. Значит, могли и они остаться чистыми, непорочными, сошло бы и им с рук или не сошло? На всякий случай те, кто ранее с Митрохиным здоровался, здороваться перестали. Кто приятельствовал – более не приятельствовал. Родной брат Ефрем публично, на страницах газеты, отрекся от старшего брата.

Глухое одиночество скоро обняло служащего горфо. Он захандрил, затосковал, занеможил. В крайне болезненном своем состоянии не разглядел, однако, что так же захандрили, затосковали, занеможили и те, кто руку ему более не протягивал, кто обходил его на улице. Лица соседей и сослуживцев обескровились, голоса потускнели, речи утратили первородство. Психиатры, возможно, знают, как точно назвать эту болезнь, связанную с утерей лица. Но доверять психиатрам не следует...

Ноша отверженного на миру оказалась не по плечу иманскому казаку. Уж лучше бы взяли, распнули, растерзали. Душа невинно убиенных отлетает в рай. Бедный Илья Павлович бродил по двору, ничто не занимало его слабый ум. Он пробовал увлечься домашней суетой – руки не держали лопату, молоток не угадывал по шляпке гвоздя.

Не потеряв в достоинстве, Илья Павлович опадал в теле. Начались корчи в животе, судороги стали сводить ногу. Тут, добывая, вызвали его на профилактическую беседу, потребовали покаяния. Должно бы наоборот быть – перед ним покаялись бы, отпущения грехов испросили бы. Но нет. Под страхом смерти потребовали окончательного унижения. Он покался, в чем – плохо понимал, но покался. И к пятидесяти годам сделался семидесятилетним стариком. Милосердные эскулапы спровадили его на инвалидную пенсию, протянет-де недолго.

Встал и потребовал разрешения обыденный вопрос: не о том, как жить, а как доживать век. Матрена Фоминична, жена, тоже сама не в себе, советовала предать забвению прошлое (кабы было оно прошлым!) и стараться начать новую жизнь. Иной она не назвала её. Есть ведь дрозд на черемуховой ветке, свежий наст снега на огороде. Есть запах лебеды и укропа. Есть река Уссури, утоли мои печали, Уссури...

Между тем в городе все мало-помалу забывали да и забыли Илью Павловича, будто его и не было на этих улицах. Дети считали его блаженным, но не трогали старика, не обижали, не дразнили.

Однажды Илья Павлович приковылял на рынок. Там, стоя среди грубо сколоченных рядов, он увидел маковку церкви и ранних грачей, облепивших голые деревья. Еще не осознавая до конца, что с ним происходит, Илья Павлович прицепился к цветочным семенам, щедрой россыпью опавшим на прилавки. Он купил знакомое с детства – горемыки. Легло на сердце: горемыки...

И, когда притащился домой, не упал на топчан, а, перемогаясь, потеснил в оконных горшках герань, высеял горемыки, пролил мягкой водой. С нескрываемой радостью наблюдала за мужем Матрена Фоминична и улучила минуту, подсунула ему журнал «Цветоводство», ранее чуть ли не презираемый за отстранение, за уход. Илья Павлович наугад открыл, и повело к благодати: «Осенью у гладиолусов наступает период глубокого покоя», – такое могло быть сказано и про него, Митрохина. Он вчитывался в страницы и нигде не нашел упоминания о классовой борьбе или о происках империалистов. Австралийские мальвы и тюльпаны из Голландии нигде не объявлялись космополитами. Так Илья Павлович сделался читателем пустого, по прежнему его представлению, журнала. Эх, если бы он догадывался, куда стежка эта приведет...

Городские надомники подсказали адреса, и Илья Павлович списался с селекционерами-самоучками, отослал им семена окультуренных полевых цветов уссурийской долины, в ответ получил сорта срединной полосы России, посеял грядку, наблюдал за всходами. Иная жизнь обретала почву. А конвертики писем по цепочке шли с семенами самых диковинных растений (иногда письма были вскрыты наглой рукой и на живинку заклеены). Оказалось, страна – от океана до океана – жива, но жива цветами, птицами, березовыми околками, а идеология этой полевой, васильковой страны пустопорожня и холодна. Тут я ничего не выдумываю и не додумываю. На годы репрессий пал расцвет голубеводства. Не только мальчишки, отцы и даже деды, нутром знавшие, сколь легкомысленно занятие голубями, предались странной забаве. Они спасали душу вживе. Тогда же начался всплеск в цветоводстве, к лютикам и настурциям припали изможденные и измордованные народы необъятной державы. Современные Пимены в кельях не заметили поразительного перекоса в увлечениях россиян, во всяком случае, летописи молчат о перекосе.

Илья Павлович прежде всего оборудовал подвал, чтобы клубни и луковицы могли спокойно дремать в умеренной прохладе зимой. Он побродил по округе: собрал лафтаки стекла и утеплил крохотную оранжерею; утеплив, стал с конца января выносить туда горячую золу из подувала, оттаивал и парил впрок почву. Все волоком, стеная, но силы начали прибывать. Матрена Фоминична принудила его, как маленького, пить каждое утро молоко (тогда еще не нанесли удара по городским подворьям), молоко исцелило недуги.

Самозванец-цветовод скрестил далекие сорта гвоздик, дождался результата. Новички оказались стойкими к ночным температурам, а лепестки долго не опадали в вазах (пришлось раскошелиться на простенькие вазы). Дом на Пинегина постепенно окутывала дымка: одежда и шторы, старый пружинный диван пропитались цветочной пылью. Запах, едва уловимый и нежный, поселился и реял в комнатах и на веранде. Когда Илья Павлович выходил в город, легкое облачко сопровождало его по улицам, входило в магазины и в дома, светилось над ним.

Уверовав в себя, в новое призвание, Митрохин решил покуситься на гладиолусы, царственный вид которых вынуждал его до сих пор держаться от них на почтительном расстоянии. Илья Павлович холил и лелеял гладиолусы, догадываясь, что человеческая неделикатность (правднее сказать – произвол) чужды изысканным особям, и краткий их век возвышеннее долгого людского века. И замыслы их – у цветов не может быть умысла – миротворческие. Гладиолусы не предадут человека на заклятие, не обманут, не донесут на него. Опричина невозможна в хороводе цветочном. Поникнув головками, они молча и всегда в гордом одиночестве уходят в небытие, избегая круговой поруки и жертвоприношения. Да, целая философия открылась моему герою.

Дитя воинственного века, пленник ложных упований, Илья Павлович рискнул выпестовать новый сорт гладиолуса: темный, почти черный. Траурный цвет подсказал имя – убиенного Ивана Петрова. Есть же иван-да-марья, есть анютины глазки, почему бы не быть Ивану Стойкому? Но курился еще фимиами тоталитарному режиму, и пришлось Ивану Стойкого зашифровать псевдонимом неблагозвучным, зато прозрачным – «Волочаевский комиссар». Что и говорить, не обладал утонченным вкусом отставной чиновник горфо. Зато сути он остался верен.

Впервые вынеся труд свой на городскую выставку цветов, он снискал признание обществу, бросившей его в минувшие лета на произвол судьбы. Незлобивый Илья Павлович воодушевился, и через три года собрание цветоводов края приветствовало оригинальные сорта гладиолусов. Смущали лишь имена оранжерейных пришельцев. Но грянул 1956-й, разомкнул уста Митрохина, и таинственные имена-псевдонимы были рассекречены. Сразу вспыхнул, даже воспалился интерес к забытому на домашней деляне безумцу. Тотчас же и усомнились в безумии его. На волне эйфории Илью Павловича восстановили в партии и возвели в сан красного партизана, несуразный для человека, окончательно ставшего сиреневым. Но слава в раскат и в разлив пошла по Уссурийску, и дрогнул Илья Павлович, поддался пионерам, те нацепили ему на грудь алый бант, чтобы с бантом этим прошел Митрохин по первомайской площади. Вот еще один опрометчивый поступок.

Завистливые глаза следили за поднявшимся из пепла Митрохиным, зависть же, как известно, – лишь смягченная форма алчности. Завистники припомнили главное, что делало Илью Павловича чужаком в стае бескрылых: не писал доносов, не подлизывался, хуже того – оскорбил всех, не соглашаясь с коллективным приговором в адрес врагов... Теперь-то, может быть, и не врагов, но тогда врагами объявленных. И хуже некуда – удалился из мира в схиму, в домашний монастырь. В монастыре же вынырнул идею проникнуть в сектантские ряды ревнителем революционной чистоты (малое участие в той усобице они считали индульгенцией на всю долгую и греховную жизнь).

И затеялась новая карусель. Время действия зарево, похожее на нынешнее.

И сейчас выползали из комфортабельных щелей ревнители чистоты массовой селекции народного сознания. Вы слышите их голоса? Пробу негде ставить на этих ревнителях. Конформисты, еще три года назад они не давали живым слова сказать живое и по согласованию с ведомством славили ничтожных кормчих и присных вокруг, бильярдные шары подносили им на дачах и, сомкнув бесталанные ряды, уничтожали благоуханный сад, в котором что ни цветок, то на выбор, как в оранжерее Ильи Павловича Митрохина: Виктор Некрасов, Александр Твардовский, Александр Солженицын, Андрей Сахаров, Андрей Тарковский, Мстислав Ростропович. И твой росток в тени великих крыл топтали каблуками...

Перед внезапно сошедшимися из ниоткуда завистниками художник Митрохин оказался безоружен. Матрена Фоминична дельно посоветовала расстроить ряды противников, поименовав подлыми именами выведенные сорта георгинов, но Илья Павлович счел предложение циничным. Правда, на рынке сами покупатели предлагали Илье Павловичу поднять цены на его, Ильи Павловича, знаменитый теперь товар; и давно было пора построить новую, просторную оранжерею, с печью, зольным сусеком, и купить бы Матрене оренбургский платок...

А ветераны сходились в секции, в штабы. Немощные в поступке, они непрерывно заседали и в протоколах исходили ядом. Прочитирую подлинные образчики их речей:

«Илья Митрохин с занятием города Иман войсками атамана Калмыкова поступил в таможеню...»

«И.П. М-н имел звание (ох, нравится им слово „звание“! – Б. Ч.) чиновника».

«Мне известно, что Илья М-н и его отец, притворившийся лесничим, состояли в активе калмыковской банды» (вот уже и «банды»! – Б. Ч.)

«Илья М-н чистку не проходил». Верно, верно – посредством доноса не прошел Илья Павлович чистки, за что и был вычищен из партии. Но стукач за давностью лет не помнит, а может быть, и не ведает о том.

«За антипартийное поведение М-н исключен из партии». Еще одна проговорка: нравственный поступок Митрохина, оказывается, антипартиен в силу своей нравственности.

Пожар разгорался на пустом месте, но языки пламени не были красными – они были того цвета, какими были с тридцать третьего, виноват, с двадцать девятого года – коричневыми и единственно коричневыми. Таковыми они являются и нынче: там, где провозглашается охота

на ведьм, френчи или партикулярные платья охотников, отражая их субстанциальную сущность, всегда коричневые.

С истинным удивлением Илья Павлович обнаружил, что Гражданская война не закончилась для них, она желанна и необходима. Она – бессмертный дух Льва Троцкого! – перманентна. Надобно изыскать врага – инакомыслящего, инакоговорящего, инакоцветущего, даже инакоотцветающего, даже и молчащего инако; а нет подходящего – выдумать, сочинить и, коль не удалось потушить его во младенчестве, в курной избе под Иманом или на улице Шатковской в Урийске (не путать с Уссурийском), спалить коричневым напалмом и корни прочь из земли, а пепелище засыпать хлоркой, чтобы кровь невинная не проросла розой или гладиолусом.

Городские вертухай с олимпийским спокойствием наблюдали за погоней и травлей. Вертухай знали истинный подтекст травли (вознесшийся не в меру художник должен быть остановлен), и сама атмосфера преследования устраивала вполне – изничтожение художника шло от имени общественности. Надо бы, в духе времени, дать слово гонимому, но застеснялись. Илья Павлович попытался предать гласности чудовищные мотивы травли – цензор, сам страстный цветовод, отказал.

Ветераны приняли несколько резолюций. Пока я не прочитал эти резолюции, я продолжал реалистично воспринимать обстановку в городе; хотя дыхание абсурда веяло в лицо, не хотелось верить, что абсурд овладел Россией на всю глубину бесконечных ее пространств. Ну где-нибудь в Урюпинске – там понятно, господу Головлевы и поручики Киже по тем землям хаживали, оно и не в диковинку. Но в благословенном Краю Восходящего Солнца...

Я прочитал несколько заявлений К-го Михаила Дмитриевича (того самого, что крикнул некогда на собрании Митрохину: «Ты не в своем уме!»). Витиеватый слог и смысл ускользающий, но в одном заявлении прорвалось: «Почему И.П. убегает от наших имен, когда дает названия цветам? Мы тоже воевали, питались травой и по лесам скрывались» (простодушно-то как!). Человек в почете, пенсионер, всегда желанный на чиновных этажах. Но мало почета и этажей, устланных коврами, если старинный приятель твой, обретший призвание художника, – правда, подпольно обретший, в домашнем затворничестве, – плодит сомнительные метафоры на цветочном фронте: гладиолус, посвященный Рютину, тогда мало кому известному, называет «За правое дело», Сергею Лазо – «Несожженный»¹, – Вячеславу Молотову – «Не все коту масленица». Коробит слух? Но есть и другие названия, уже достаточно утонченные (вкус – дело наживное): «Очей очарованье», «Мартовский снег», «Вдали от забот»... И снова почти выкрики: «Не сдамся», «За себя постою».

Лист 28 (на Митрохина заведено «дело»). Протокол 14 заседания бюро секции ветеранов Гражданской войны и бывших красных партизан (и правда – бывшие, давно переставшие ими быть) при исполкоме.

«Постановили:

Признать странным, что Митрохин, выводя новые сорта цветов и присваивая им имена героев революции, делает это совершенно произвольно, по собственному выбору».

Лист 30.

«Слушали: заявление (внеочередное! – *Б. Ч.*) бывшего партизана К-го М.Д.

Постановили:

1. Секция категорически возражает против отдельных моментов в работе Митрохина по выращиванию гладиолусов и присвоения им имен отдельных товарищей. (А товарищи все на погостах, под крестами и звездами, и в номерных могилах, безымянные... – *Б. Ч.*)

2. Работу цветоводу И.П. Митрохину можно проводить, но только под контролем соответствующих органов, а не произвольно».

¹ Переключка с поэтом: «Вам тяжело быть кленом, товарищ Лазо? В каленны зимы ваши ветви окрепли затем, чтоб по ветру, навечно и зло, вчистую развеять легенду о пепле...» – стихи двадцатилетнего владивостокского поэта Ильи Фаликова.

Карусель, более похожая на гильотину, остановилась, кажется. Сформулировано и принято историческое решение. Митя Карамазов воскликнул бы здесь (стихийный был человек): «У, жуткая вещь – реализм!»

Против собрания, распинавшего Василия Блюхера и Ивана Петрова, смог Илья Павлович встать тогда ватными ногами. Но абсурду цветовод сопротивляться не смог и занемогил окончательно.

Скоро случилось то, что и должно было случиться. Утром Митрохин вышел во двор и заметил строчку шагов, обошедшую вокруг теплицы. Следы были махонькие и с копытцем. Так могла бы овца встать на задние ноги и пробраться сюда. С наветренной стороны овца остановилась, ощупала передними копытами окна, содрала замазку в пазах, отогнула гвоздочки и вынула стеклины, поставила аккуратно к стене и улетела. Следы обрывались на обратной тропе, последние отточия были глубокими, так как надо было оттолкнуться перед отлетом.

Нашествие «овцы» произошло в начале ночи – отроческие стебельки цветов скукожились и оледенели. Труд нескольких лет жизни оказался уничтоженным в одночасье.

Илья Павлович, прежде чем силы покинули его, навестил двух старых женщин, немых соратников, раздарил клубни георгинов и луковицы гладиолусов, а также семена володушки и ирисов, попрощался молча, вернулся домой и умер.

Я бродил по Уссурийску с женщиной нового поколения. Завязь весны пьянила улицы города.

А женщина, с печальной складкой у рта, с замедленным взором, вместе со мной возвращалась в былое, которое было не ее былым...

Апрель – май 1989 года

Уссурийск – Владивосток-Иркутск

Весенние костры

В моем письменном столе хранятся ятаган, кривой турецкий кинжал – давний его подарок, путевые тетради и фото пленки его десяти экспозиций. Вернулись вещи ко мне при странных обстоятельствах. Сестра из дома прислала письмо. «Был перед госпиталем Питухин, – говорилось в нем. – Оставил свои бумаги и пленки. Сказал, что „ему (то есть тебе) будет интересно“. Он сильно сдал. Походы, видно, его измотали. Потом я запросила госпиталь. Мне ответили, что его с осложнениями перевели в другой госпиталь. Прошел год, и вот я пишу тебе».

Я вытребовал посылкой все к себе, и предчувствие тоже кольнуло меня, когда я прочитал в его дневнике: «Вся жизнь вместилась на вокзалах, я жил годами в поездах... Не оттого ли так устало мерцает огонек в глазах? Не оттого ли, оттого ли все тяжелее дома жить? Не оттого ли тянет в поле бессмысленно с ружьем бродить». Перемена в этом человеке, словно разбитом усталостью, так не вязалась с тем, прежним Питухиным, который некогда у Заболоцкого выписал стих: « И если смерть застигнет у снегов, лишь одного просил бы у судьбы я: так умереть, как умирал Седов»².

Я тут же написал во всякие военные инстанции, но ответа не дождался: диковинной, наверное, казалась моя просьба сообщить адрес офицера такого-то и, следовательно, дислокацию его части.

И вот случайная командировка на Дальний Восток снова привела меня на тихую улицу Шатковскую, в родимый город Свободный, где долгие зимние часы одинокого отрочества я делил с квартирантом, военным топографом Питухиным. Бывший наш дом был заселен чужими людьми, я не решился войти в него. Но под теми же березами, опущенными легким февральским снегопадом, я дал обещание написать о человеке, который был первым моим учителем.

Я встречал людей, апостольски следовавших по стопам своих учителей, исповедовавших их догматы неукоснительно и истово. Я встречал людей вообще без наследственной традиции, людей без веры, космополитов, не знающих родства. Те и другие – жалки. Первые – откровенные рабы; вторые – талантливые или бесталанные дилетанты в жизни, перекаати-поле, склоняющиеся выи перед любым мало-мальски крепким характером, заушательски не соглашающиеся с господином случаем, но остающиеся игрушкой в его руках.

Я вернулся во Владимир. Стоял кроткий апрель. Клязьма еще не вскрылась, но снег уже сошел, высох; и в старом парке, где некогда Герцен с Натальей гуляли под липами, однажды я услышал запах первых костров. Жгли прошлогоднюю листву. Детвора со всех окрестных школ, осененная куполами Успенского собора, прыгала через огонь. Дворники в белых передниках, похожие на раздобревших снегирей, бесшумно и быстро сгребали новые кучи.

Помните ли вы свои весенние костры? Как, скинувши кепчонку, – помните? – вы разбегаетесь и что есть мочи отгалкиваетесь от земли и, как Ваня-дурачок, поплыли, поплыли над костром.

Помните ли? – вы идете по улицам вашего небольшого дальневосточного города, и ничто для вас не существует, а лишь тот крепкий вечерний запах догорающих костров...

И еще – помните? – в постель вы ложитесь, совершенно измаявшись, а от белой простыни, от подушки тоже почему-то пахнет костром, прогретым тополем, мамой.

На Дальнем Востоке костры – давняя традиция, некий обряд освящения весны. Мы собирали хрусткую картофельную ботву, разжигали высокий огонь. Питухин, если он еще был в городе, не отказывался прыгать через костер первым. Когда он разбежался, белая рубаха пузырилась, и диво было видеть Питухина, выплывшего из огня живым и невредимым.

² Георгий Седов погиб во льдах, пытаясь достичь Северного полюса. Похоронен на острове Рудольфа.

В мае мы ходили по городу с подгоревшими бровями, и сосед, дядя Петрован, чтобы образумить Геньку, моего приятеля, купил ему настоящие брюки под ремень. А до того мы ходили в сатиновых или теплых шароварах на резинке. И Питухин, пошептавшись с мамой, купил мне шерстяные брюки и подарил свой узкий скрипучий ремешок.

Чудной нам попался постоялец. Как и все офицеры, он много курил; у него была серая заношенная шинель – «ШЭКС», шинель экспедиционная; коньяк на ужин и иногда на обед. Но когда он нес льняную голову свою по провинциальному Свободному и серебряные погоны тлели на его прямых и сильных плечах, было в нем что-то похожее на Георгия Седова, когда тот замышлял дерзкое путешествие к Северному полюсу.

Владимир Михайлович Питухин попросился к нам на квартиру, когда я учился в пятом классе. С гарнизонными офицерами население восточных городов уживается хорошо и привычно. Офицеры обычно снимают маленькие флигели или комнаты и вскоре становятся почти своими в семье. И когда офицеров переводят в другое место – жизнь у них неоседлая, – то еще долго идут письма и всяческие поздравления, с днем рождения, с Рождеством и т. д.

Так было и у нас. Во время войны в нашем городе была кавалерийская часть, на квартире у нас стояли тогда веселые и бесшабашные люди. Неподалеку была тогда база Амурской флотилии, город пестрел черными бушлатами и бескозырками.

Потом пришла пора исследователей, топографов и геологов. И в наш дом вошел Питухин. Девятая школа, где я коротал зимы в ожидании весенних костров, не много занимала у меня времени. Но пришел топограф Питухин, и время мое затрещало по швам. Питухин ввел жесткий распорядок дня; он обрабатывал результаты экспедиции, черкал что-то в толстой тетради в коленкоровом переплете, ходил молча часами. До поздней ночи в комнате горела самодельная настольная лампа. Я большей частью читал, но иногда получал от Питухина странные задачи на географической карте. Например. Экспедиция Н., вылетевшая самолетом, потеряла радиосвязь с землей на третьем часу полета. Место вылета – Новосибирск. Курс – строго на северо-восток. Определить широту и долготу квадрата предполагаемой катастрофы. Далее. Н. и двое уцелевших товарищей пошли на юг по компасу. Компас давал отклонение на одном градусе тридцать километров (компас оказался поврежденным при падении самолета). Средняя скорость движения группы – 10 км в сутки. Время движения – три месяца (компас уводил людей в тайгу, ненастная погода мешала хотя бы приблизительно вести отсчет по солнцу). Им пришлось зимовать. Погиб еще один. Н. был в отчаянии. Но тут на них наткнулись аборигены-охотники. В каком это произошло квадрате, на какой восточной долготы и северной широте?

Вот это были задачи! Я и в топоотряд ходил смотреть на офицеров, обросших черными бородами, как на прообразы легендарного Н. Я стрелял на полигоне из стрелкового оружия не в фанерные мишени, а в медведей, в кабанов, в сохатых. Сладкий запах сгоревшего пороха туманил мне голову.

Вечерами в наших комнатах часто толпились офицеры. Приходил медленный и тяжелый Борейко³ – так я звал его, а на самом деле Николай Михайлович Игнатъев; вбегал Леня Леонтьев, бедокур и непоседа; позднее появился Джага – так звали молодого лейтенанта Бориса Шампарова. Имя таежное «Джага» привязалось с легкой руки проводника в камчатской экспедиции, да и осталось. Говорили, полковник Никитин, начальник топографического отряда, так и звал его: «Лейтенант Джага».

Были и другие офицеры – теперь безымянные за давностью лет.

Джага в полевой сумке всегда имел запас коньяка. Он говорил, что это у него наследственная слабость. Леонтьеву приносили гитару, на кухне переставала стучать швейная

³ Поручик Борейко – персонаж романа Степанова «Порт-Артур».

машина «Зингер», к нам выходила мама. Мама любила казачьи песни, на которые Леонтьев был мастак.

Джага вздыхал, ему не повезло с проводником.

– Оказался угрюмым и жестоким. Знаете ли вы, что такое с пяти метров расстрелять в гнезде орлят? Они на крыло еще не стали, а он их в упор. Маяться пришлось весь маршрут.

«Угрюмый проводник», «маршрут», «увалы» – какой, в сущности, незатейливый язык, но сколько в нем притягательной силы для пятнадцатилетнего мальчишки в любую эпоху. Мне казалось, Пржевальский сойдет сейчас с портрета, присядет вместе с нами, пошебаршит усы и поддакнет Джаге.

Они все – Питухин, Игнатьев, Леонтьев, Джага – почти одновременно закончили Ленинградское топографическое училище, и много в их разговорах было примет города – Дворцовая площадь, Медный всадник, Нева... Они клялись, что вместе когда-нибудь соберутся и поедут на Иссык-Куль поклониться праху Пржевальского. Выполнили ли они свою клятву, не знаю, но в пленках топографа я неожиданно обнаружил три кадра: скромная могила Пржевальского, обнесенная железной оградой, памятник и уголок музея. Питухин читал стихи. Стихов он знал много (я не догадывался, что среди читанных были и его).

Запомнилось: «Мой старый фрак» Беранже и «К временщику» Кондратия Рылеева.

Питухин был потомственным помором. Как-то наш злополучный сосед, дядя Петрован, сильно ругался и назвал Геньку сволочью. Питухин усмехнулся:

– А ты знаешь, Годунов (такую кличку он дал мне), «сволочи» – это доброе слово. В Архангельской губернии мужики по сути ладьи свои волочили, и потому их звали сволочами.

Топографом он решил стать после армии, после фронта (на фронт он ушел добровольцем семнадцати лет, в сорок третьем). Ему повезло – не только потому, что училище было на Петроградской, но и потому, что еще был жив Берг. Питухин напросился на встречу к старику.

У Берга была большая и пустынная квартира – видимо, следствие блокадных лет, и Берг любил поговорить с будущими географами.

Лев Семенович Берг оставался живой легендой, наследником потрясающих успехов русской географической науки в XIX веке.

Окончив Московский университет с дипломом первой степени в 1898 году, он был практиком – зоологом, натуралистом и путешественником, а потом, когда здоровье не позволило кочевать, стал теоретиком и историком.

Еще в 1908 году за классическую монографию «Аральское море» он был удостоен Географическим обществом Золотой медали имени Петра Семенова-Тян-Шанского.

Берг садился в кресло напротив Питухина и говорил:

– Ну-с, продолжайте ваш рассказ. В прошлый раз я, к сожалению, не смог дослушать... – Берг был непоправимо ранен временем, ему шел восьмой десяток.

Курсант Питухин описывал Бергу природу Архангельского края, обычаи поморов, рассказывал о фронте.

Вскоре Берг умер. Питухин не смог принести цветы на его могилу, потому что началась страда экспедиций: чукотская, зейская, камчатская.

Все экспедиции, наверное, начинаются одинаково. Позднее мне приходилось участвовать в геологической и археологической партиях. У топографов начало было похожим. Много праздничной суеты, хлопот. Тусклые полевые погоны вдруг преобразуют офицеров; у них исчезает подпрыгивающая походка, потому что на ногах уже не сапоги, а мягкие ичиги. Плац в топоотряде пустеет. Озабоченные солдаты увязывают вещмешки, упаковывают продовольствие, чистят лошадей, лоснящихся нагулянным за зиму жиром. И в канун отправления отряда целая часть города, словно старинный посад перед уходом воинов, дымит кухнями, гремит ведрами у колодезных рам – готовит проводы, потому что уходят свои, кровные, родные, ухо-

дят на лишения; но как уходят – с гиком, в горьковатой веселости. И «Прощание славянки» на последнем построении медными трубами разрывает сердца горожан, и город как будто немеет.

Питухин уходил из города кротким и тихим. Однажды я подсмотрел в его дневнике: «Уходить из Свободного тяжело, будто из родимого дома. А в городе все так же будет дымить хлебозавод, разнося вокруг теплые запахи опары. Но идти надо – снова и снова, чтобы не зарастала тропа, проложенная не нами; увы, мы идем по проторенным тропам, но и то честь: идти вторым». Питухин осознавал себя наследником Роборовского, Потанина, Берга, но не декларировал этого. Он был так же одержим в поиске, он был так же неутомим в походах, хотя фронтальные ранения и профессиональные болезни все серьезнее осложняли его бытие. Он воспитывал свой интеллект, постигал культуру за домашним столом, и любимым изречением у него было: «После хлеба образование является первой необходимостью человека». Он знал, конечно, что офицеры – участники знаменитых и незначительных экспедиций в дебри Центральной Азии или в Полесье – воспитывались на Плутархе, Шекспире, Гёте. Они частенько не догадывались о противоречиях, раздиравших уклад Российской империи. Но, прозревая для себя в 14 декабря гибельный пример, они уходили – не убегали ли? – в дальние пределы и страны. Строки поэта как нельзя лучше передавали их немудрящую философию и жизненный идеал:

Домик с зелеными ставнями,
Снова согрей и прими.
Грежу забытыми, давними,
Близкими сердцу людьми.

Но каким исполином рядом с этими прекрасными, но камерными строками жил стих, громкогласо читанный Питухиным тогда, в дальнем пятьдесят втором году:

– Сволочи! – Я бросаю слово в грязную одиночку, И ненависть лавой в груди моей клокочет, – стих о Греции. В Греции было тогда плохо. Казарменный режим душил мысль, поэзию, науку. И в запредельной России неведомый лейтенант читал этот стих, ненавидя тиранию, как ненавидит ее афинянин. Но за Грецией – вставала Россия, уставшая в безмолвии мертвых зон от Камчатки до Балтики. И доброе поморское слово «сволочи» в устах лейтенанта Питухина вдруг становилось острым.

Краем уха я слышал в разговорах топографов, что то ли уж век такой у нас: ядерная физика, химия, – географическая наука отошла на второй план, а топографическая служба, ранее приписанная непосредственно к Генеральному штабу, тоже переживает сложное время; или, сокрушались топографы, своими алмазами и нефтяными угожьями геологи затмили их, первопроходцев?

Но слышал я имя Арсения Кузнецова. Кузнецов был именно военным топографом. Он погиб, изыскивая трассу на Совгавань; карту нашли у него на груди; по этой карте пошли строители. Арсений Кузнецов жил в холодную пору тридцатых годов, но с величайшим достоинством нес звание военного топографа. Посмертное признание его подвижнического труда вошло в учебники и в легенды. Вспоминая Кузнецова, Джага вздыхал:

– Вот уже прожил гору лет, а еще ничего не сделано для бессмертия.

Джага был честолюбив. Леонтьев стучал длинными пальцами по портрету Пржевальского и говорил Игнатьеву:

– Тезка твой избрал тропу изгоя. Не о славе, не о бессмертии мечтал человек, а о свободе, потому как чем меньше человек имеет, тем он больше свободен.

Питухин в дымном и шумном застолье почти не принимал участия. Работник, постигший тщету скорого исполнения желаний, он понимал, что застолье – только приправа к серьезному, целомудренному опыту жизни. Я видел иногда улыбку, которой он сопровождал пыльные речи Джаги и резонанство Леонтьева. Но никогда он не попрекнул друзей своих обидным словом.

Мне это было непонятно, и однажды я спросил его прямо, зачем он терпит беззаботность товарищей. Питухин рассмеялся:

– Эх, Годунов, не знаешь ты, какие это прекрасные люди. Они не получили классического образования, верно, но они добры, человечны, открыты. Они не отягощены большими заботами, но зато они искренни в участии. Притом, учти, они военная косточка, но бурбонами не стали, не поднаторели в доносах.

Вскоре, однако, я заметил, что бутылки из-под коньяка исчезли в нашей квартире. Питухин продолжал все так же вставать в пять утра и до ухода на службу в топоотряд успевал прочитать полкниги или исписать несколько страниц мелким бисерным почерком. А после службы снова садился к столу.

И настал черед Сихотэ-Алиньской партии. Шел 1956 год. Я заканчивал школу. В голове была сумятица от надвигающихся экзаменов по математике, безвестность будущего волновала. И Джага говорил не ко времени:

– Хочешь в экспедицию на Сихотэ рядовым?

Я, разумеется, хотел. По военному делу, по географии, по естествознанию у меня всегда было пять.

Я не задумывался тогда, какой это тяжкий, изнурительный труд – топография. Буколические дымки на привалах, лесные запахи, настоянные на дикой смородине и черемухе, прятали от меня непарадную суть этого труда.

В Сихотэ-Алиньской экспедиции Питухин вел дневник. Я заново перечитываю его страницы:

«Завтра утром мы встанем. Ты сядешь шить кимоно. А я в сапогах, заплатка к заплатке, пойду к Шаману. Это высокая и холодная гора. Мне надо положить ее на карту».

Строчки эти записаны последовательно, не столбиком, хотя они кажутся мне стихотворением. И еще одно, трудное признание:

«Тысячи красивых мужчин окружают тебя. А я живу в палатке, в длинной долине Сеенку. Ты лежишь в постели, слушаешь городские крики и хочешь закрыть окно. А я, упав на ветки стланика, осмысливаю бытие».

Владимир Клавдиевич Арсеньев как-то писал:

«Красота жизни заключается в резких контрастах, как было бы приятно из удэгейской юрты попасть в богатый дом...»

После долгого питья из кружки дешевого кирпичного чая с привкусом дыма с каким удовольствием я пил хороший чай из стакана! С каким удовольствием я сходил в парикмахерскую, вымылся в бане и затем лег в чистую постель с мягкой подушкой».

Но пусть вас не обворожат счастливые, почти эпикурейские строчки, навеянные городом, его долгожданностью.

«Посох достал я с чердака,– написал в том апреле Питухин...– Я опробовал себя, трижды перепрыгнув через высокий костер на нашем дворе, далось мне это нелегко, молодость – признаемся в тридцать лет – ушла. Потому и достал я посох. Вот и начало нового годовичного круга. Начну не спеша очень нужное в жизни движение».

«Движение» – почти формула, почти девиз.

Арсеньев прошел путь от села Троицкого на Амуре до Императорской, ныне Советской, Гавани по рекам Анюй, Тотто и другим в 1908–1910 годах. В 1927 году он почти повторил этот маршрут, на четыреста километров разойдясь с будущей тропой моего топографа. Но если первая экспедиция Арсеньева была снаряжена специально Русским географическим обществом в честь 50-летия со дня официального присоединения Дальневосточного края к России и ее руководитель уходил в путешествие, как поэт, то единственной задачей экспедиции Питухина было положить на карту речки, ручьи, низменности, горы, уточнить данные аэрофотосъемок, дать наименования. Черная, но необходимая работа.

Что мы знаем сегодня о Сихотэ-Алине? Что там живут остатки племени удэге, или туземцы, как называл их Арсеньев? Что там водятся тигры? Ну, а еще? И оказывается, все еще очень мало.

В долину Сеенку проводник-удэгеец отказался вести отряд:

– Моя туда не ходи. Там злой Шаман и сердитая вода дерется.

Отряд повел Питухин. Они продирались сквозь тайгу, шли через болота. Там, где тяжелая поклажа затягивала лошадей в топь, выручал Дзоциев, молодой двадцатилетний солдат родом из Дагестана. Дзоциев был человеком страшной силы, руки его легко ломали подкову. А длинная, сухая спина его несла груз в сто килограммов, если другие выбивались из сил. Дзоциева в отряде звали «батя», он был не по годам степенен и мудр...

Помимо экзотических красот и деловых записей, Сихотэ-Алиньский дневник позволил заглянуть в быт военной топографической экспедиции, увидеть ее будни.

С фотографий на нас смотрят юные бородатые люди: Харт, Матвеев, Белозубов, Абылгазиев, Попов, Бутыльский. Русские, татары, белорус, кавказец в одном маленьком отряде.

Харта-Растегина, в отряде его звали Паганелем (он не расставался с большой поцарапанной лупой и мечтал после армии стать зоологом), командировали с Романом Бутыльским на Шаман, самую высокую вершину северных отрогов Сихотэ-Алиня. Они должны были жить на вершине долгие недели, их наблюдательная станция измеряла высоту других, малых вершин и глубину урочищ и марей, потом эти измерения позволили составить карту рельефа.

Горное половодье, заполнив ущелья и тальвеги водой, отрезало надолго от отряда, и они перемигивались ночными кострами с нижней станцией. А в ненастье и костры молчали.

Питухин с большой симпатией описывает этих юношей. Бутыльский, к примеру, физически не мог существовать, не работая.

Харт по совету командира решил загадку странного ночного воя в окрестностях Шамана (этот-то вой и пугал случайных охотников в этих местах). Отыскав «эпицентр» воя, в жуткое место попал любознательный Харт: огромные скальные обнажения создавали перепад на пути сквозняков; попадая сюда, ночные ветры с моря отзывались утробным гулом, эхо кроило его по-своему, делая то пронзительным, то низким, как октава океанского лайнера.

Питухин сумел увидеть в Сихотэ-Алине не только экзотические картины природы. На месте бывших лагерей, где томились люди, в том числе и невинные, тысячи невинных, у оставленных, будто про запас, барачников он, сидя на пне, записывает исповедально: «Сподобился видеть тяжкие следы недавнего былого, молчал.» Много роднит их, русских офицеров, но иной, дореволюционной эпохи, с нашими топографами. Энциклопедичность познаний, тон письма, доброта отношений в самом отряде. Как знать, может быть, позднее ими заинтересуются издательства – хотя бы специализированные: географическое или военное⁴.

Ведь историей топографической службы, начиная с первого промера в 1868 году ширины Керченского пролива (между городами Тамань и Керчь) и до наших дней, мне, непосвященному, кажется, никто всерьез не занимался.

В нашей комнате, помимо иностранцев Ливингстона и Брема, Джеймса Кука и Нансена, стояли толстые тома отчетов и путевых дневников Лисянского и Крузенштерна, Беллинсгаузена и Потанина, Козлова и Витковского, Обручева и Певцова – представителей большей частью армии и флота. Поэтому не случайной оказалась работа Питухина «Страницы истории военно-топографической службы».

Одно удивляет, когда я заново просматриваю содержимое своего письменного стола: кто он, топограф – натуралист, поэт, историк?

⁴ Сбылось – три издательства опубликовали работы В.М. Питухина, в том числе издательство «Мысль» (Москва). Примечание 1988 года.

Я знаю, он ходил по земле без компаса. По звездам узнавал время – с ошибкой в три-пять минут.

Он писал новеллы. Читая их, я вспоминал рассказы Сетон-Томпсона.

Он писал тайные движения женьшеня. В рукописях есть отдельная работа, она так и называется: «Женьшень».

А вот строчки из дневника под названием «Совесть»:

«Дайте мне право думать, что „совесть“ – категория худо исследованная. Опускаясь в пропасти и поднимаясь на вершины, теряя друзей и вновь обретая их, я часто останавливался в неведении и раздумье: совесть – какой хрупкий барометр. Малейшее движение воздуха – и уже колебания, и беспросветность, и безнадежность. Но вдруг столько солнца и тепла. На весь мир.

Как трудно становятся плохими люди, совестливые по своей натуре, с какими мучениями, с какими самоотречениями!

Но с каким возвышенным челом служат они потом своим идолам. Изредка, опускаясь в давние тайники, они плачут о невозвратимом и – ожесточаются».

Он отлично стрелял в цель.

Он любил слепые дожди. Он считал, слепые дожди помогают человеку не стареть. Об этом мне потом рассказывали топографы.

Я написал, что многое роднит Питухина с предшественниками по армейской службе.

Но я хорошо вижу в нем и новое. Он был начисто лишен барственности, попросту он уже не знал ее. В лесу он не мог идти налегке, поровну с солдатами делил поклажу, даже Дзюциев не мог у него отобрать рюкзак. Он и в дневнике признавался: «Делю тоску разлук тяжелых, – мне лучшей доли не найти, – по городам, станицам, селам с друзьями в избранном пути. Делюсь последней папиросой, единственным глотком воды...»

Из Сихотэ-Алиньской экспедиции я получил от него целое послание, уже на Иркутский университет: «Видишь ли, Годунов, история российского офицерства богата высокими и иными примерами. Именами иллюстрировать не буду, хотя можно поступить проще, взять героев литературных произведений – от Швабрина, Грушницкого, Алексея Вронского до Ромашова и Сани Григорьева, они дадут обширную картину нравственных поисков или бездуховности. Ты должен заметить, лучшие из них любили не мундир, полагали себя гражданами на военной службе. Но в час беды все они становились в ряды народного ополчения, чтобы застоять Отечество грудью или погибнуть. И в этом мы им наследуем.

Ты можешь кое в чем упрекнуть моих сослуживцев, но прежде ты должен понять эпоху, а потом и Джагу, и Леонтьева, и Игнатьева. Нам досталось суровое время. В военные годы мы знали, как мы нужны стране и как страна нуждается в нас. А потом, потом, Годунов, жить было тяжело – но мы избрали солдатскую лямку и не отреклись от нее. Я надеюсь, твоему поколению будет легче. Хотя все непредсказуемо и очень шатко в России»...

Однако я хочу цитировать дальше. Слишком долго это письмо дождалось своего часа.

«Я рядовой человек, последний из могокан-географов, которому суждено нанести на карту сто ручьев и сто болот – так мало рядом с великанами, наследником коих я считаю себя.

Итак, смиряюсь – маленький человек. Но, может быть, с большим человеческим достоинством».

Нам не довелось больше встретиться. К тетрадам и пленкам была приложена записка, датированная 16 мая 1966 года:

«Мои бумаги побереги. Так, на всякий случай... В сорок лет гуляю по госпиталям. Ревматизм, полиневрит и прочая чертовщина. Отпылала моя весенняя костры. А твои отпылала?»

В. Питухин, армейский капитан, действительный член Географического общества СССР»

Чистая лампада

Прикасаясь к большому явлению в Искусстве, каждый должен давать себе отчет, имеет ли он право на прикосновение.

Один пил вино с художником и теперь имеет право сказать: «Мы пили вино высокими стаканами». Высокое вино.

Другой катался в лодке с художником.

Третий однажды на премьере видел автора, забрасываемого белыми цветами...

Я не был близким другом Александра Вампилова. Больше того, мы были иногда в антагонизме, ибо Вампилов не понимал, как это человек, вооруженный опытом прошлого, сохраняет веру в некое переустройство общества на нравственных началах.

Воспоминания мои будут субъективными.

Однажды в майский день мы вынесли стулья из редакции «Советской молодежи»⁵ и, встав на них, ждали явления народу Фиделя Кастро Рус. Мы – это электрик Владимир Яналов, прораб Зоя Пшеорская, плотники Виктор Грошев и Александр Крымский. Было тепло. Кубинские и наши флаги трепетали над карнизами домов.

Толпа неистово взликовала, когда машина с Анастасом Микояном и Фиделем Кастро покатила на нас. И Александр Вампилов сказал: «Массовое действо. Пора бросать чепчики».

Правда, «кричали женщины „ура!“ и в воздух чепчики бросали».

На четвертом курсе в университетской газете я печатаю рассказ «Юнкер Карецкий». Меня интересует эволюция юнкерского мятежа в Иркутске. Гражданская бойня.

Со мною знакомится Александр Вампилов, я приглядываюсь к нему – смуглый, полуизможденный парень в сером пиджаке. Он курит сигарету и скупно хвалит меня, или не меня, а юнкера Карецкого.

В январе глубоко личные переживания продиктовали этюд «Люся выходит замуж». Хочу напечатать его в молодежной газете, но девицы (тогда было много эмансипированных девиц в редакции) восстают. Меня выручает Вампилов. Он появляется в дверях, когда я готовлюсь назвать девиц дрянью. Он читает этюд, мы выходим в коридор. Он снова хвалит меня, на сей раз меня, называя этюд стихотворением в прозе.

Знакомство состоялось и окрепло. 27 февраля 1961 года запись в дневнике: «Вампилов – Санин. „Феодал с гитарой“. Чувство языка. Смеялся. Феодал с гитарой... Сцены из нерыцарских времен».

Когда возникло в Иркутске творческое объединение молодых, и Александр Вампилов спросил, почему я не поставлю на обсуждение свои рассказы, я ответил отказом: обстановка в Объединении претила мне. Там готовились и росли художники, они говорили о запахах, о цветах, о нюансах, о характере. Я не понимал поиска, начатого Вампиловым. «Стечение обстоятельств», тонкая и довольно смешная книжка, обещала поверхностного сатирика. Рассказы «Тополя» и «Станция Тайшет» казались вторичными. Увы, я торопился с выводами, но встреча на берегу Байкала приоткрыла глубину мышления Александра Вампилова.

Август 1962 года был горячим, как в прифронтовой полосе. Я избран секретарем комитета ВЛКСМ строительства Байкальского целлюлозного завода: у меня девятнадцать первичных организаций, промбаза, микрорайон будущего города. Я изучаю пешком строительство, но больше езжу на дежурных машинах. Солнце жарит дороги, пыль забивает легкие, но возле Управления строительства тишина – березовая роща водит хоровод, в кабинах спят шоферы. Ветра нет, но благодатная лесная тень спасает от жары.

⁵ Иркутская областная газета.

Я иду от столбовой дороги к конторе, по тропе навстречу мне двигаются парень и девушка. Она светловолосая и вся в белом. Он тоже в белой рубашке, пиджак через плечо перекинут – Саня Вампилов.

Пасхальная эта картинка до сих пор перед глазами. В березовой роще сквозит солнце. Тишина. И идут двое, стройные и юные. Не люди, а символы на берегу прекрасного озера. (Я привык видеть грязные спецовки парней и неприхотливость в одежде девчат.)

Мы здороваемся и садимся на поваленное дерево. И спрашивает Вампилов:

– Ну, как твои, Боря, потешные полки?

Я ишу спасения в диалектических связях: потешные солдаты Петра, потом гвардия Преображенского и Семеновского полков, костяк армии и лоно вольнодумства. Каре на Сенатской площади.

Я отвечаю оптимистично:

– Потешные полки дерутся.

– Во славу уничтожения Байкала?

– Почему же – возрождения! Мы возродим жизнь на его берегах, построим дома и цеха. Мы позовем художников, чтобы достойно отобразить бодрую жизнь на этой земле...

– А источник вы сохраните? – Он даже не спрашивает, а констатирует.

Я молчу. Мне кажутся странными суждения пришельца в белом.

– Мы ищем пристанище – пожить, подышать озоном, – говорит Вампилов, разряжая неловкую паузу.

И девушка Люся робко улыбается.

А мне чудится упрек: напоследок, пока цел источник, приехал он сюда с подругой. Холодно я советую им ехать в Выдрино или Утулик: там патриархальная тишина и по вечерам играет гармошка.

Но на прощание Вампилов вдруг просит миролюбиво:

– Ты в тетрадь пиши свою эпопею. – «Эпопея» произносится с той дозой иронии, на которую он был мастер.

Проходят недели и месяцы, у меня открываются постепенно глаза. «Пиши в тетрадь эпопею»... Зачем писать? Как документ близорукости? Как дневник современника, избравшего торную дорогу?

Противоречия, обуревавшие меня, я плохо передаю в очерке «Пронин думает о жизни». Вампилов хвалит очерк. Я пытаюсь узнать, за что хвалит. Оказывается, всего лишь за один абзац, вот он: «Ночью случилась гроза. Серые наросты ворон опали с криком, и пришло лето...»

В 1963 году я вернулся в Иркутск и стал работать в обкоме комсомола. Уже в Байкальске поиски концепции мироощущения поставили меня в положение одинокого лыжника. Будто я вышел вместе со всеми с соратниками, а потом ушел вперед (или отстал?) и заблудился в лесу. В обкоме одиночество усугубилось и вылилось в полное почти отшельничество...

Диковинная это была эпоха. Борьба с абстракционизмом и вызов тоталитарному режиму в Китае, разоблачение преступлений культа личности Сталина и догматизм, проникавший во все поры государственного организма.

Меня интересовала гласная оппозиция догматизму. Хорошим инструментом в достижении этой цели было творческое объединение, но оно оказалось разгромленным.

Я отдавал себе отчет, что истинным вождем молодого Иркутска был Вампилов. Я нашел его.

Вампилов сказал:

– Надо найти лояльную почву для контактов с партийными руководителями.

Формулировка явного политического оттенка «лояльная почва» меня удивила, передо мной был другой Вампилов, зрелый муж, уже не юноша. Думаю, и он понял истинные причины моей заинтересованности в реорганизации ТОМа.

Смехотворна была первая реакция секретарей обкома на мое предложение восстановить ТОМ, больше того – конституировать его решением бюро обкома. Степаненко в кабинете шепотом произносил имя писателя Юлия Файбышенко, у Гетманского⁶ в глазах темнело, когда он говорил об «этих демагогах-писателях». Вот я сказал – смешно. А и печально: как легко мы делаем «врагов» из своей интеллигенции... На мое предложение секретари ответили тяжким покачиванием головой. Пришлось прибегнуть к соображениям престижного порядка. «Если не мы, так сельский обком возьмет на себя руководство ТОМом», – и шпилька угодила в большое место.

ТОМ начал новый круг. Мы вошли в бюро; Шугаева, рвущегося на пост формального лидера, избрали председателем. Скоро я понял, что Вячеславу Шугаеву фирма ТОМ требуется для рекламы и самоутверждения. Если Вампилов мечтал о творческом обсуждении писательского ремесла и искусства и – да! – пропаганде наших взглядов, иные этого не хотели, а может быть, и не были способны на это: красноречия, гениальной памяти Юлиа Файбышенко явно не хватало для создания подобающей атмосферы.

Но несколько событийных вечеров состоялось. Приведу для примера аргументированный разгром антихудожественного «творения» Леонида Ханбекова; автор навсегда оставил худое перо, отдавшись административной карьере⁷.

Вампилов принимал во всем равное участие. По его совету я написал статью, в которой критиковал литературность рассказов Бориса Лапина; и тут далеко вперед смотрел Саша. Несколько лет спустя на читинском семинаре окончательный разгром Б.Лапину устроит бескомпромиссный Виктор Астафьев.

Но отыскались противники и у Саши. Цензура, с благословения Антипина Е.Н., секретаря обкома партии, сняла в газете сцену из его пьесы, и Вампилов узнал, что в декабре на областной конференции «Молодость, творчество, современность» его собираются критиковать весьма сурово, «в назидание»...

– А это, как ты понимаешь, вовсе ни к чему мне нынче, – выстраданно говорил он, придя в обком комсомола.

Вампилов оказался прозорливым.

Писать доклад поручили мне. Я написал его либерально, поощряя творчество молодых. Примеры (доклад без примеров не доклад) я отыскал самые положительные. Но доклад мой секретари обкома забраковали: в нем не было четкой «классовой позиции», то есть зубодробительной критики.

В неумелые руки взял перо Борис Гетманский и написал свой вариант доклада, нашпиговал его цитатами и суровым морализаторством⁸. В качестве козла отпущения был избран Вампилов. Я уговорил – стыдно, но надо признаться в этом – заменить Вампилова прозаиком Альбертом Гурулевым. Гурулев напечатал в «Советской молодежи» рассказ «Ель», вкусный эскиз к рассказу об одинокой старухе. Вот я и предложил раскритиковать Гурулева «за мотивы печали», «за уход от героической действительности»... Что не сделаешь во имя спасения Александра Вампилова?! Мое предложение приняли. Драматург наш приободрился, а Гурулев недолго был озадачен, но потом сказал с горечью:

⁶ Анатолий Иванович Степаненко – первый секретарь промышленного обкома, затем высокопоставленный работник КГБ. Борис Алексеевич Гетманский – второй секретарь обкома комсомола, затем партийный работник.

⁷ Но первые шаги графоману помог сделать Франц Таурин, да, тот самый, что исполнил заказ Сулова и Ко и, будучи секретарем правления Союза писателей РСФСР, исключал из Союза Александра Исаевича Солженицына.

⁸ Когда я узнал, что на конференцию приехали Александр Межиров и Владимир Корнилов, я сгорал от стыда за обком, но ничего изменить не мог.

– Все же хоть такое, но внимание.

Я казнил себя, но молчал. Теперь я прошу прощения у писателя Гурулева.

После я редко видел Вампилова, и собственные мои переживания в эти годы так уплотнены, что я не решаюсь всегда точно датировать встречи и беседы с Александром Вампиловым.

Помню маленькую заметку за его подписью. Вампилов пишет о фильме Козинцева: «Гамлет – откровенный тираноборец, и эта трансформация героя поучительна и актуальна. Резонер и нерешительный человек бросает вызов силам зла...» Цитирую по памяти и думаю, что заметка была опубликована ранее 1964 года.

Кажется, в это время Игнатий Дворецкий читал в Доме писателей свою пьесу «Мост и скрипка». После чтения кто-то посетовал: милиционер в пьесе показан неблагополучным. Тотчас поднял руку Вампилов и оспорил это мнение. «Движение характера, – говорил он, – предполагает именно такого героя, и сглаживать характер не следует». Позиция Вампилова – хоть штрихом сохранить дыхание жизни – примечательна.

Зима не перепаде в 1965 году. Вампилов и Шугаев возвращаются из Москвы.

– Француз Рекомболь считает, что твой (мой.– *Б. Ч.*) Ленин придумал революцию. Сидел в лондонской библиотеке и думал: «А не сделать ли и в России революцию, мероприятие пре-забавное». – Он говорит шаржированно, отстраненно и даже имя француза явно выдумал, но ему любопытна моя реакция.

Удачна ли поездка в Москву?

– Ты тут локти обдираешь, а они курицу едят, – безадресно и поэтому непонятно.

Видели Твардовского и говорили с ним. Неужто и Твардовский «курицу ест»?

– Мужик ничего... А вот Липатов пьет водку и икрой заедает. Но по какому праву? По праву клоуна...

Нет, Вампилов не в духе. Но тема «Твардовский и “Новый мир”», прочно сшитая великолепным языком Вампилова, стала на много дней главной в журналистском и писательском мире Иркутска.

Оказывается, при всей своей величественности Твардовский всерьез говорил с молодыми литераторами из Сибири. Как он курит, как молчит, как афористично высказывается; как даже пьет вино – по полному праву: классик и вождь посконной России, – все знали мы о Твардовском из первых рук, впитывая сочный и грубый юмор и непробиваемую мощь его логики. Журнал Твардовского сделался духовным руководителем настолько, что печатание Преловским стихов в «Октябре» у Кочетова воспринималось как ренегатство.

Разговор о поэзии. Хвалит стихи в «Советской молодежи» Юрия Артюхова и Славы Эпельштейна, вспоминает Блока, спрашивает, что люблю у Блока. Слушает. Потом читает свое:

– Похоронят, зароят глубоко,
Бедный холмик травой порастет,
И услышим: далеко, высоко
На земле где-то дождик идет...

Читает безыскусно, но в безыскусности – душа ранимая.

На два часа я получил пьесу «Прощание в июне» и, сидя в редакции, читаю. Вампилов ждет, что я скажу. Пленительное свойство у Вампилова – он хочет знать мнение своего товарища, он доверяется на мгновение, но доверяется полно.

– Пьеса написана мастером, – говорю я Александру Вампилову. – Можно поздравить тебя.

– Не врешь? – пытливо он смотрит в глаза. – Впрочем, ты ведь никогда не врешь, опасный ты человек.

- Только странно, – говорю я.
- Что странно?
- Очищение Колесова с привкусом авторской заданности странно...
- Говори, говори!
- А я уже сказал. Привкус есть. Но пьеса совершенна.
- Ничего себе – совершенна. Нахал! В штатском!
- Да мне показалось. Что же поделаешь?
- Ну, нахал, – он качает кудрявой головой, и мне жаль, что я огорчил его.

Дважды мы сходились, чтобы поговорить. Мои экстремистские речи не нравились ему – в них преобладало политическое направление, а он, как не раз передавали мне, надеялся, что я засяду за стол. Эта его вера нашла трогательное подтверждение в таком факте. Однажды мы из редакционных столов переносили в библиотеку всякий хлам – в связи с ремонтом, что ли? – и в столе обнаружили целое хранилище Сани. Там были блокноты, старые кирзовые сапоги, его рубашка. В этом собрании на глаза попала вырезка из районной газеты – то был мой давний рассказ «Кочевник». Позднее в журнале «Юность» я рассказал о человеке, послужившем прототипом кочевника.

В одной из бесед Вампилов сердито ругал моего приятеля А.Попова. Оказывается, в университете шла дискуссия о так называемой дегероизации литературы, и Попов, аспирант кафедры философии, ссылаясь на Ульяновых, говорил молодым писателям: «Чем же Ленин не герой? Его не спрячешь, не снивелируешь. Он по самому большому счету герой, он совестлив и честен, и литература это отразила...» – и так далее.

Возражать против этого было бы опасно. И Вампилов решил, что прием, примененный Поповым, незаконен и двусмыслен.

Приступ черной меланхолии привел однажды Вампилова в редакцию, и одновременно пришла Ольга. Я уговорил его отослать Ольгу домой и пображничать. Он берет Ольгу под руку, ласково смотрит в ее красивое лицо и уводит по Киевской в тишину. Проходит час, он возвращается.

- Мы ждем дите, надо же понять Ольгу, – грустно говорит он.

Мне становится стыдно за мое поведение. Но мы все равно едем за плотину, в скучнейший поселок ГЭС, к сестрам М. По дороге мы говорим не о жизни – о женщинах.

– Горько это, Боря. Говорила: «Я люблю тебя. Ты с другой, а я люблю тебя. Ты далеко – я люблю тебя. Ты приходи когда хочешь, хоть через пять лет, я тебя пожалею. Пришел через год. Стучусь. В общежитии на Пятой Армии⁹ живет. Открывает. «Ах, Саня, что же ты не предупредил меня? Ну, проходи...» Прохожу. Сидит фраер на табуретке. И она уже любит его, а не меня! Глаза у нее виноватые. Я мнусь, потом говорю: «До свидания или прощайте, как угодно». У нее виноватые глаза, но она смотрит на парня, он ей дорог... Я ухожу, иду по этой церкви. Иду и плачу.

Была душа – вынули душу. Не любил я ее, но она жалела меня. И вот сидит парень...

Через час у Сани в руках гитара.

Я на Верхней Охте квартирую. Две сестры хозяйствуют в доме, Самым первым в жизни поцалуем Памятные детству моему, – он читает Межирова и не по-сибирски вычленяет «а»: «поцалуем».

Семья, любимая жена, ожидание ребенка и горечь измены Н., прелестные глупые сестры.

Для ригориста, сторонника условной морали, ситуация фантастическая и опасная. Но чем лучше те, что умом постигли разврат, изнасиловались в партийном блюде, в словесном вожделинии?..

⁹ Некогда Харлампиевская церковь. Там похоронен знаменитый купец Иван Чуринов, там венчался А.В.Колчак, уходя на войну в Порт-Артур.

Ни разу, однако, в разгульные часы и минуты я не замечал в Вампилове пошлости. Изящный в своих проявлениях, он был рыцарски великодушен не только к товарищам, но и к случайным знакомым; и только в крайних ситуациях раздражение прорывалось у него – но изысканно и тонко и оттого остро и убийственно.

В нем не было произвола – вот что главное. Гармония личностных начал исключала произвол. Если он решался на приговор, то почти всегда взвешенно. Так он однажды не вытерпел менторский тон иркутского газетчика Р. и сделал ему едкое замечание, и Р. понял серьезность позиции Вампилова. В другом случае помню, как высмеял разгульное хлебосольство Евгения Раппопорта, коим хозяин умело формулировал чрезмерные литературные претензии...

Анатолий Преловский после гибели Александра Валентиновича сетовал на некую странность, которая развела его с Вампиловым, а между тем достаточно знать тенденциозный и коварный характер Преловского, чтобы односторонность его начинала раздражать и требовать протеста. Я не решаюсь назвать поэзию Преловского тенденциозной, но мне пришлось слышать от Вампилова суровое суждение о старшем товарище по цеху: «Плохой, из рук вон, драматург, но поэт старательный».

В январе 1970 года я запомнил счастливого Вампилова. Зимние каникулы в разгаре. Я приехал в Иркутск и зашел, как всегда, в колыбель нашу – в редакцию – и застал там Вампилова. С каким-то подобострастным человеком он читал статью в университетской газете – о премьере «Старшего сына». Статья написана в восторженном тоне, автор ее, очевидно, перед драматургом. Вампилова смутили чеховские эпитеты, он отказался читать этакий компот; поднялся навстречу мне, мы поздоровались. Разговор наш был недолгим, ибо я спешил к сыну, а Саня – Саня не спешил никуда, потому что только что вышла в свет «Утиная охота».

Он попросил у кого-то ручку и подписал последний экземпляр журнала. При этом он смеялся, узнав, что Юлий Файбышенко на иркутян надел эполеты: Вампилову достались генеральские, Машкину – полковничьи... В этой табели я выбрал себе высшее кубинское звание – майор. Саня улыбался, когда сочинял дарственную надпись:

«Боре Черных, майору, которого к моему удовольствию знавал еще старшиной, на добрую память. А.Вампилов. 8.1.70 г. Иркутск».

Весной 1972 года мы увиделись в Москве, совершенно случайно. Иркутский историк И.С.Вахрушев и я пришли на Центральный телеграф, и в большом зале Александр Вампилов, желтый и небритый, потряс меня крепко за плечо. Я потерянно узнал его.

– Первая моя пьеса наконец-то пойдет – тьфу, тьфу! – в столице. Сижу работаю. Надо кое-что выписать.

Мы обменялись телефонными номерами. Через день или два он позвонил под ночь:

– Ты, верно, звонил, а меня не было, мытарили, пришлось пить. А завтра окно, давай встретимся, лучше утром – никто не будет мешать.

Назавтра мы встретились в маленькой комнате гостиницы «Будапешт». Над столом у Сани висела афиша Ленинградского драмтеатра – «Два анекдота» в постановке Александра Товстоногова. Оказывается, Вампилов написал «Провинциальные анекдоты»; но провинцию идеологи отменили, и название пьесы пришлось менять.

Мы сходили, не одеваясь, в кондитерскую, купили снеди, Саня попросил коридорного принести чай.

– Этот Юван Шесталов, что встретил нас у выхода, великий национальный писатель. Однажды в тусклые минуты я подумал: «Провинциальный драматург Вампилов». А почему бы не стать национальным писателем? Бурятская кровь во мне течет? Течет... Покатилась бы жизнь как у Бога за пазухой... Теперь, слава Тебе, Господи, это ни к чему. Но разве я не прав был десять лет назад, когда говорил: «Оставь политику»?.. Сеятель сеет, а всходы гибнут на корню. Владимир Войнович хотел на трибуну выйти. Усомнился в таланте, Робеспьер... Пока

был жив Твардовский и «Новый мир», дыхание теплилось. Но теперь пора осесть, взять перо и до упаду сидеть за столом. Перо – вот оружие на Руси, в любую погоду.

Он рассказал о премьере в Ленинграде и о старшем Товстоногове:

– Живет без партбилета, а дело делает и врачует, врачует... А у нас в Иркутске, не поверишь, пятачок... Как бы ты поступил, Боря, сейчас? Ты старой закалки экстремист. Как бы ты поступил раньше, я знаю. А нынче?.. У нас там сущее столпотворение! Все борцы и меня в рекруты зовут. Женя Суворов – ему бы истину уяснить и писать. А он – в суете, до сорока лет.

Чем дальше и горячее он говорит, тем большее раздумье овладевает мной.

– Когда-то все творческое объединение было пятачком, – сказал я.

Вампилов усмехнулся.

– Ну. Помитинговали. Но потом сели за стол. И, согласись, кое-что написали.

– Ты не думай, – сказал Вампилов, – я не хочу уезжать из Иркутска. Мне Ленинград предложили, с хатой. Но это чужой город. Рубцова знаешь? Он жил в Вологде. Но сумел бы он сохранить себя в Москве?

– Но он не сохранил себя и в Вологде, – сказал я банальную истину.

Вампилов вздохнул.

– Однажды мы с Петькой Пиницей¹⁰, – вдруг вспомнил он, – Петька приезжал в Иркутск, шли мимо дома твоего. И сын твой стоял в окне... Тебе надо вернуться в Иркутск.

Меня ранил этот зрительный образ: сын мой Андрей стоял в окне...

Тут телефонный звонок заставил его собираться в театр на переговоры. Мы вышли в полусумрак улочки, где стоит «Будапешт», потом выбрались дворами на широкий проспект и – расстались.

В июле мне удалось получить командировку в Сибирь. Я встретился с сыном; мы жили, как я и обещал, в палатке на берегу Иркуты, слушали ночные всхлипы парома, шли нудные дожди, вода в реке прибывала, просветов в свинцовом небе не было. Мы удрали от дождей в город.

Адриан Митрофанович Топоров просил меня передать письмо Валентину Распутину, но и Распутина не было в Иркутске. Вскоре вернулся с Байкала Вампилов. Мы пошли с Андреем к нему в гости.

Нас встретила Ольга, сильно возмужавшая женщина. Дочь Елена, раскосая и темнолицая в отца, усадила нас в кресла. Мы недолго ждали Саню, он звонил в Москву, где уже шли репетиции. Он вернулся возбужденный и радостный, и мы пошли искать вино. В магазинах действовал вечерний запрет, пришлось идти в кафе. Там давка. У стойки пьяные мужики выклянчивают водку. Чтобы не влезать в чудовищную толпу, мы попросили официантку, и она принесла нам бутылку шампанского.

Пока мы охотились за вином, Андрей, с разрешения Сани, рассматривал книги и отыскал Сервантеса. Погас свет, и тут между нашими детьми была маленькая борьба. Лена, как шаманка, стала выкликать духов, пугать Андрея:

– Сейчас придет Бабай и схватит тебя. Сейчас придет Бабай...

Андрей темноты не боялся. Еленино пугание было забавно ему.

Ольга рассказала, как на Байкале хозяйский мальчик, вконец запуганный шаманством Елены, не спал ночами. Андрей подтвердил неожиданное дарование младшей Вампиловой, и Саня слушал эти байки с нескрываемым наслаждением.

– Отец, пришли мне «Дон Кихота», – попросил Андрей.

– А не рано? – я посмотрел на Саню.

Саня сказал:

¹⁰ Талантливый поэт. Трагически погиб в 1976 году.

– Дон Кихот отговаривает сына читать Сервантеса. Себя стесняешься? Пусть почитает, как ты воевал с ветряными мельницами... Слушай, а что с ними творится – Андрей в очках, у Ленки тоже плохо со зрением?..

– Много лет назад я взял у тебя Гарсиа Лорку и не вернул. Еще когда ты жил в Ново-Ленино, – вспомнил я.

– Я переболел Лоркой. Теперь я хочу садить огород.

– Он прямо заболел этим домом в порту Байкала, – сказала Ольга. – Мы решили купить дом. Там одних дров на три года хватит. Но у нас не хватает денег, и можно опоздать – хозяин продаст дом.

– Деньги найдем, – сказал Вампилов, – огород будем садить.

– Мне пора вылетать в Москву, а письмо Топорова я не сумел передать Распутину, – сказал я.

Вампилов обещал передать письмо и спросил, как я познакомился с Топоровым.

Я рассказал.

– Мы с Валентином как-то читали его «Крестьяне о писателях». Гениальная книга. Язык первозданный.

Вампилов прочитал письмо (Адриан Митрофанович не стал, разумеется, запечатывать конверт).

– Ядовитый старик, – усмехнулся Вампилов. – Щедринской породы. «Честные писатели всегда на Руси бичевали злочинцев».

Потом он вдруг сказал, будто решившись:

– Меня сильно огорчил Слава Шугаев. Последняя моя пьеса¹¹ была снята из номера с его помощью, может быть косвенной, но с его помощью. Антипин, как всегда, выступал дирижером, а Слава солистом. И рассказ Димы Сергеева выкинули. Я-то ладно, переживу, но Дима заработал право печататься... Пусть румяный критик разложит на части рассказ, но опубликованный уже. Конформист, сказал я Славе, конформист ты, Слава... Я понимаю, Мольер стелил Людовику постель, но «Тартюфа» до сих пор запрещают ставить на сцене... Некоторые же умудряются стелить постель и не умеют писать правду. Хотят преуспеть там и тут. Но Шугаев просчитался. Ему лучше уехать из Иркутска...

Мы заговорили о Зилове. Я назвал его прекрасным человеком. Это удивило Вампилова и обрадовало.

– Некоторые считают его монстром. – Он взял с полки журнал «Театр». – Вот что пишет некая дама...

Он прочитал отрывок, написанный в ослепленном состоянии, – Зилову отказывали в гражданстве. Мой спекулятивный ум подсказал и здесь «выход»:

– Но все-таки это лучше, чем замалчивание творчества¹².

– Лучше быть распятым, зато публично?.. А дама пишет: он злодей, он монстр... Потом, лет через сколько-то, поставят и будут играть не нас, не Зилова, а злодейство, а?! Или этакого Хлестакова закрутят... – размышлял он вслух.

Больше всего поразило в речи Вампилова – он отстранялся от своего детища и понимал, что те, кто будут ставить, играть, «закручивать Хлестакова», – они все это будут делать самоуверенно, игнорируя многозначительность героя и сложную позицию автора. Может быть, после него, когда автор уже не сумеет вмешаться...

– Я встретил недавно бывшую свою жену. Не задалась жизнь. Разошлась с мужем. Ребенок без отца... Прекрасная женщина – и не везет. Бьется как рыба об лед.

¹¹ Я помню, в Москве он говорил о глухой стене молчания, которая сопровождала его ленинградский успех.

¹² «Прошлым летом в Чулимске».

Сейчас, когда я пишу эти строки, фраза эта, сказанная вне связи с общим ходом разговора, выступающая из него как алогичность, прочитывается по-новому.

Безмерная вампиловская доброта видна в его отзывах о товарищах, которые работали рядом с ним менее успешно, в меру отпущенного таланта.

– Как живет Петр Иванович Реутский? Пьет вино и пишет стихи. Хороший он человек, мы его любим... Сергей Иоффе? Поэма «Командир» была недурственным началом, а потом суета одолела Сергея. Надо работать, он еще может отвоевать пласт.

Но рядом с этим отзывом – узнаю: в Москве Вампилов беседовал с Анатолием Жигулиным, упрашивая того облегчить прием Иоффе в Союз писателей.

Национальный вопрос:

– Актер в Ленинградском драматическом подходит ко мне: «Ты еврей?» – «Да, если угодно, я еврей, только бурят, монгол». – «А почему они говорят о тебе: „Он наш“? – „Кто они“? – „Кто? Еврей!“ – „Это для меня тайна. Пожалуй, я больше монгол, чем еврей“. Успокоился парень, в „Старшем сыне“ играл удачно...

– Чулимск – Илимск? Нет и да. Чуминск? Наверное, нет. Черт его знает, здесь есть какой-то потайной ход, вот и название пришло...

– Я думаю, как лучше обустроить твоё возвращение... Вот придем мы к Антипину, а он не в духе или делает вид, что не в духе. И говорит: «Нечего ему делать в Иркутске». Мы говорим: «Есть».— «Ну, так вы и приглашайте его. А я ни при чем», – и откивает. А может и по-другому решить: блудный сын все равно возвращается домой!.. Надо прикинуться, Боря, блудным сыном. А Евстафия нарядить отцом... Постель для начала постелив. Что делать, иногда приходится постель для Людовика стелить... Или поставить в условия свершившегося факта – ты вернулся. И затем строить мосты...

– За стол мы тебя посадим. Это все чушь – ты не Толстой. Ты Черных. Твоей жизни десятерым хватит. У тебя – опыт, его надо записать, на серой бумаге стройно и последовательно изложить...

Главное совершено. Эта мысль пришла ко мне после прочтения «Утиной охоты» более чем за год до трагедии на Байкале...

Догадывались ли современники, с кем они рядом жили, курили свои сигареты, пили вино и соки? Оберегали ли они Дарование, Талант?

27 марта 1973 года в газете «Советская культура» появилась статья Антипина, секретаря Иркутского обкома партии по идеологии: «Третий сезон не сходят с афиш пьесы безвременно ушедшего из жизни одаренного драматурга А. Вампилова „Прощание в июне“ и „Старший сын“...»

Этому иезуиту, святоше Антипину история дала право тоже быть современником художника – с первых шагов и до последнего мгновения Е.Н. Антипин был черной тенью, неусыпно сопровождавшей писателя.

Провинциальный Бенкендорф, небесталанно игравший охранительную роль при одном из лучших отрядов отечественной литературы, продолжает и сейчас фарисействовать. Это его стараниями снимались прямо с газетных и журнальных полос пьесы Александра Вампилова; это его указующий перст не давал Вампилову многие годы пробиться на сцену в родном городе. Это Антипину принадлежит последний укол в сердце, которое разорвалось в байкальских водах. Пусть говорят иные об эпохе, микроклимате. Но существует и персональная ответственность заплечных дел мастеров, кои преуспели в своем ремесле...

1973

Добавление

Мне не дает покоя фигура Зилова... Только волшебник, волхв может по наитию поставить за дверьми любовницу, и Зилов, этот неправильный человек в правильном мире пошлости и цинизма, Зилов, страдающий, будет кричать не ей, а жене-мученице (и зал будет содрогаться, ибо безнадежная правда в этом монологе):

– Я сам виноват, я знаю. Я сам довел тебя до этого... Я тебя замучил, но клянусь тебе, мне самому противна такая жизнь... Ты права, мне все это безразлично, все на свете... Что со мной делается, я не знаю... Неужели у меня нет сердца?.. Да, да, у меня нет ничего – только ты, сегодня я это понял, ты слышишь? Что у меня есть, кроме тебя? Друзья? Нет у меня никаких друзей... Женщины? Да, они были, но зачем? Они мне не нужны, поверь мне... А что еще? Работа моя что ли? Боже мой! Да пойми ты меня, разве можно все это принимать близко к сердцу! Я один, ничего у меня в жизни нет, кроме тебя, помоги мне! Без тебя мне крышка... Уедем куда-нибудь! Начнем сначала, уж не такие мы старые... Ты меня слышишь?

И другая женщина, юная и не искушенная в жизненных бедах, отвечает: «Да». Она соглашается ехать на... охоту.

– Только там, – страшные слова кричит он ей, нет, не ей, а жене («там» – на безлюдье), – чувствуешь себя человеком.

Этот монолог и вообще вся мизансцена написаны кровью писателя – в них все мы, в них я и мои товарищи – в одиночных камерах своих квартир.

Чацкий говорил монологи перед глупыми людьми (кажется, это заметил еще Пушкин). Но поставьте себя на его место, и вы тоже станете кричать в «хохочущий сброд». Вы попадете в глупое положение, над вами будут смеяться... Но молчание может удрушить.

Опыт драматургии не позволяет современному писателю, если он наделен беспощадным талантом, повторять прошлое.

Арбенин ревнует и отравляет свою жену. Ленский стреляется. Катерина бежит к реке. Средневековые страсти царствуют в золотом веке нашей литературы.

Вампилов не может в Зилове повторить предшественников, но вовсе не потому, что боится повторения. Время изменилось!

И умный и безусловно честный человек, Зилов играет в поддавки – он пьет с ними, Аликами, водку он будто бы болтает с ними, – но он всюду отсутствует. Он формально здесь, в этой сцене, в этом акте. Но присмотритесь, прислушайтесь, если вы способны прислушиваться, – его нет с ними. Он – вне этого круга, вне этого порочного, бездуховного общества; но тлен коснулся и его лица.

Камю в «Постороннем» дал типаж выпадения личности из общества, из эпохи, из самое себя. Распад достиг той разрушительной стадии, когда человеку следует самоуничтожиться, самоустраниться.

Таков ли Зилов? Ничего подобного! Не он выпал из общества, а общество выпало из нравственного круга, и он – притворяющийся циником Зилов – с сарказмом клеймит его и проклинает.

Но, как Печорин, уехать в Персию не может. Зилов умнее своих литературных предшественников на целое столетие.

Прекрасный человек погибает на наших глазах. Вот так и мы, поставленные в ложные обстоятельства, играем придуманный водевиль. Фарс стал частью жизни. Естество утрачено, мы участвуем в игре. Роли расписаны. И если Бог наделил нас умом и порядочностью, мы сыграем даже не роль, а присутствие в игре. Так взрослые играют в детей с детьми, притворяются и шепелявят, чтобы облегчить детям бытие среди враждебного взрослого мира.

Мы выматываем свои силы, играть в водевиль не хочется. Но если все играют, то что остается, как не устремиться и нам в это шествие масок.

Когда иудеи приводят Иисуса к Понтию Пилату, Пилат выглядывает в окно, как собственник автомобиля.

Иисус повторяет: «Я пришел свидетельствовать об истине».

Пилат, все не отрываясь от окна: «Что есть истина?..» – и, не дожидаясь ответа (ответ ему не интересен, ибо истина во дворе – собственная легковая машина), уходит.

В «Утиной охоте» Пилат – прокуратор Кушак.

Однажды Александр Валентинович произнес фразу:

– Ваше поведение с достаточной остротой для советского человека не сообразуется.

Я запомнил ее.

В деревенской школе на Тамбовщине я вел у ребят факультатив по искусству. Вот как рассуждали юные критики, распознающие природу слова.

Юра Ивахник, крестьянский сын:

– Это говорит маленький начальник своему подчиненному. Этот начальник хочет походить на большого начальника. У него никак не получается, он надувается, как гусь, и шипит.

Тоня Гридасова, дочь учетчицы:

– Он мнения о себе куда там, а сам вот какой, – ноготь показывает. – Противный тип.

Саша Струков, сын учителя:

– Глупый, изо всех сил притворяется умным.

Одна фраза, так и не реализованная Вампиловым за письменным столом. Художественная и социальная фактура настолько уплотнена, что эта фраза становится одноактной пьесой.

Не требовать должности, молчать, уходить от теневых бесед с властью имущими – означает быть в оппозиции.

Времена изменились. Но те же моральные постулаты диктуют единственно моральный путь. Согласитесь, странное и гадкое впечатление производили бы сотрудники «Нового мира», соратники Твардовского, если бы их имена продолжали мелькать в советской печати.

Но всегда и везде были люди, которые демонстративным непотворением злу насилием делались духовными вождями.

Педагог Станислав Теофилович Шацкий, высокоталантливый певец, отрекся от голоса и Большого театра. Ему казалось глупым ежедневно упражнять горло, когда сироты просили обыкновенной ласки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.